

тонов воспроизведение самих изображаемых событий, то второе всматривается прежде всего в рефлексию, раскрывает поток сознания человека, осмысляющего подчас даже не сами события, а лишь след событий.

Мне видится явный отзвук жизненного и профессионального опыта практически во всех представленных здесь вещах: режиссер театра мима Н. Подольский воспроизводит не столько Город, сколько романтически-загадочную декорацию его; инженер И. Охтин точно строит конструкцию своего юмористического рассказа по принципу «необходимо и достаточно»; математик-программист А. Бартов методом перебора ситуаций высмеивает безмыслие тех романистов, которые как раз главное-то и опускают в своих якобы дотошных исторических описаниях; матрос и художник П. Кожевников рисует действительность в широком диапазоне ассоциаций человека, обладающего приметливым глазом, и т. д. и т. п.

Поиск целостности характерен для многих стихов В. Кривулина, С. Стратановского, Б. Куприянова, О. Охупкина, А. Миронова. Поэты, преодолевая рамки субъективности, ищут суть вещей не столько среди внешних реалий, сколько на карте истории и культуры. Далекие по времени и месту явления и ценности сближаются. Поэтический язык либо уплотняет историю до некоторого общего итога, либо раскрывает в предметах повседневного историческую глубину. Отсюда ретроспективность как способ осмысления настоящего, расширение лексикона за счет включения в нее архаизмов и использование интонационно-синтаксических оборотов допушкинской поры.

Иногда, как, например, у Е. Шварц, читатель встречается с опытом реконструкции образной системы древних мифов. Достаточно привести только названия некоторых стихотворений сборника, чтобы отметить серьезный интерес их авторов к отечественной и мировой истории и культуре: «Гоголь в Иерусалиме» С. Стратановского, «В ночь на Невскую сечу», «Квандрига (памяти А. С. Пушкина)» О. Охупкина, «Голландия. XVII в.» А. Илина. Можно было бы назвать немало стихотворений, обращенных и не к столь дальней истории, например к нашему городу, но отмечу лишь цикл монологов В. Шалыта. Поэт стремится воспроизвести речи, которые могли произнести палачи и жертвы гитлеровского нацизма. Чувственная система насилия обнажается изнутри. История перестает быть просто историей, она становится голосами, влетающими в голоса наших современников.

Художественное оформление сборника принадлежит члену «Клуба-81» Ю. Дышленко.

Юрий Андреев

Игорь Адамацкий

Каникулы в августе

В теплый вечер расстались мы прохладно. У калитки ее дома под пышной рыжей рябиной с тяжелыми кистями багровых ягод я по привычке привлек девушку к себе, она отстранилась. В дрожащей улыбке таилась трагическая белизна зубов, в больших глазах под высокими бровями — вопрошающая жертвенная святость.

— Что, — сказал я, — полнолуние в тебе бунтует?

— Не то. Не то. — Она сорвала ягоду, надкусилась и бросила. — Нам нужно серьезно поговорить.

— Только этим и занимаемся... У тебя всё в порядке?

— Не волнуйся. Спокойной ночи. — Она толкнула калитку и, опустив голову, пошла по дорожке, выложенной красным кирпичом.

Помахивая рябиновой веткой, я прошел широкой темной улицей к шоссе и свернул к крутому берегу Невы. Было поздно, я не стал дожидаться автобуса и неторопливо побрел пешком.

Свет фонарей падал на воду на середине реки, блеснул узкими упрямими дрожжащими полосами, а дальше покачивался малиновый фонарь бакена, и было видно, как у другого берега кто-то неразличимый выгребает в лодке против течения.

Близнецов я сначала почувствовал, а потом увидел. Можно было уйти напрямик к шоссе, подальше от берега, а я шел и насвистывал, и смотрел, как снизу по реке из-за поворота выходит игрушечный сверкающий пароход. Его верхняя палуба ярко освещена, там угадывается публика, ветер приносит музыку, она то затухает, то усиливается, пытаюсь перекрыть едва наполненное пространство. Мужской голос поет про любовь, ветер обрывает слова и отбрасывает за корму.

Старший близнец сидел на берегу под створой, указывающей крутой поворот в этом месте реки, — сидел, свесив ноги, обнимал какую-то подружку и втихомолку тискал. Младший близнец купался. Я слышал, как он фыркает в воде, хотя его самого не было видно — внизу темно и на воде плоско лежит тень берега.

Когда я подошел, старший поднял и поставил на ноги девчонку, слегка шлепнул ее ниже спины:

— Ну, киса, дуй без оглядки.

Он посмотрел, как она бежит, только светлая юбка трепыхается, как хвост перепуганной сороки, потом повернулся. — Привет, — улыбнулся он и сплюнул сквозь дырку между зубов, напоминающая, как весной мы с ним схлестнулись на танцах.

Драться тогда совсем не хотелось. В те дни приезжала из Москвы девушка — на каникулы домой, и у нас начинались приятные дни, так что в животе замирало — «ты меня любишь и я тебя любишь», — и мне, понятно, было не до близнецов. А он раз толкнул меня плечом, потом другой раз, а потом, подтанцевав, ущипнул мою девушку. Это он зря. Музыка захлебнулась, но контрабасист, как бывало в таких случаях, с грустью перебирал струны. Близнец выпрямился, посмотрел на парней за моей спиной, понял, что на этот раз ему не в жилу, сплюнул на ладошь сломанный зуб, улынулся и протянул мне:

— На, возьми. Потом встаешь.

Хороший парнишка. С тех пор он начал мне нравиться. А теперь мы случайно встретились на пустынном берегу в ловине первого ночи, в тишине, откуда утекали последние вельски мелодии проплывающего теплохода.

Я потоптался на месте, утверждаясь крепче, нащупал ногой и отбросил камешек. Драться не хотелось, совсем не хотелось.

— Когда зуб вставишь? — спросил близнец.

Младший вылез из воды, и я краем глаза видел, что он застегивает брюки, просовывает руки в рукава рубашки, зовывает рубашку узлом на голом животе и лениво поднимается наверх.

— Сейчас некогда твоим зубом заниматься. Подождем, когда всю челюсть вставлять придется.

Я наблюдаю, как младший выбирается на берег, молча ходит к створе и начинает выламывать доску.

— Тебе помочь? — спрашиваю я.

— Поторопился бы с зубом, — говорит старший. — Мне жевать нечем. Любимый зуб. Ковырять негде.

— В носу ковырай. И не жуй. Глотай целиком. — Я внимательно разглядываю его в оранжевом свете створного фонаря. Парень он красивый. Щеки — помидоры, волосы — белый карнакул. Видный, нахальный, добрый, глупый. Такие плохо кончают. Или на них сваливается сумасшедшее весение. Кому как,

— Вы что, ребята, сразу двое или-по одному?

— Можем и по одному.

Старший делает шаг ко мне. Еще немного, и я достаю его...

...Он бросил меня и ушел. Я лег на краю картофельного поля рядом со створой на холодную твердую тропу. Потом увидел черно-розовое небо, белые звезды, они тепло и недоступно скорбели, и ощутил огромное безразличное спокойствие, наполнившее острую тишину дремотной одурью, а внизу живыми вздохами плескалась грустная волна и возле лива бегали неведомые бессонные букашки. Плохо, что и выругаться незатекли желваки, тулая боль стучала изнутри в затылок.

Я лежал под треугольной створой, там дремали жирные мохнатые мотыльки, а сверху далеко за излучину реки смотрел яркий фонарь, в его свете кровь на руках казалась зеленой. Осознаю тело, постороннее и чужое, потом встаю, хватаясь за доски створы.

Стоять непривычно, нога будто складывается, в ней что-то цепляется, но двигаться нужно — перебраться через картофельное поле, через шоссе и мимо магазина и сторожа, он ходит перед слабо освещенными витринами, ходит не для бдительности, а от скуки, и мой растерзанный вид может вызвать липкий интерес — вывихнутая челюсть не закрывается, на подбородок вытекает смешанная с кровью слюна.

— Ва-ва-ва, — ругаюсь я, озираюсь по сторонам. Обломки досок лежат рядом, а моего ножа не видно. Он удобно лег в ладошь, пока рука не попала под доску, которой сплур размахивал младший близнец. Я пытаюсь рассмотреть нож на земле, но глаз слезится, и нет времени, надо уходить, пока не заметили с дороги, — ночь кончается, на какой-то час загустеет, а затем подкрадется неожиданный загуманный рассвет, и по шоссе от поселка пойдут рабочие на завод, первыми столары, чтобы успеть до начала смены выбрать в сушилке материал. Я даже как будто ощутил сухой смолистый древесный запах, шелест тонкой свежей желтой теплой скрученной стружки. Всего лишь больше года, как я ушел с завода, а какими далекими и невозвратными стали те времена. Поначалу еще бывал в цехе, но потом реке и реке, и не о чем стало говорить с ребятами, только про футбол и рыбную ловлю, и, когда проходил между рядами начатых и сошедших со ступеней деревянных катеров, наполняя жалостью — отошло осязаемое, веселое, которого так не доставало.

— Ва-ва-ва. — Я начинаю потихоньку двигаться вниз от створы на деревянный помост, где внизу у самой воды обычно

полоскают белье, — вода в этих местах чистая, и белье обретает прохладный, ни с чем не сравнимый запах.

Сторож теперь не гуляет перед витринами, а сидит на ящике у дверей и с интересом смотрит на меня и не узнает.

Вот и парадный подъезд, одержимый недугом, — дверь скобачилась на одной петле, а лестница, изломавшись, восходит на третий этаж и манит попрыгать на одной ноге. Упираюсь рукой в стену, другой в перила и скок да поскок наверх сквозь собственный сдвинутый смех про дурацкую несуслажность себя, близнецов, драку: зачем?

Мачеха щелкнула выключателем в прихожей, открыла дверь и охнула. Одной рукой придерживала у горла незастегнутый халат, другой вытирала выступившую на лбу испарину.

— Ты, — сказала она мягким влажным шепотом, — догулялся.

Она провела меня на кухню, усадила на табурет, взяла чистое полотенце и вставила челюсть на место. Потом раздвинула оплывшее веко, заглянула в глаз, вытерла мне лицо мокрым полотенцем, приготовила холодную примочку, забинтовала и пропустила бинт под челюстью. Она проделала это быстро и аккуратно, как одному из десятка больных, с которыми ей приходилось возиться, — делать уколы, прививки, смазывать, разрезать. Лицо ее было таким же озабоченным и деловитым, какое я увидел два года назад, еще работая на заводе, пришел с травмой — гвоздем раздробил ладонь. Недурна, подумал я тогда, глядя на ее маленький носик и пухлые губы. Надо бы заняться. Правда, она старше меня, но ведь как хороша. Возможно, о чем-то похожем думал в те времена и мой отец. Но пока я размышлял, отец, человек решительный, взял и женился. А вскоре она овдовела.

— Рот не разевай широко, а то челюсть опять соскочит. — Она села у стола на табурет, положила руки на колени под выступающим животом и посмотрела на меня с жалостливым упреком. — Что-нибудь еще не в порядке?

Я помолчал, отдыхая, потом вспомнил:

— Нож. Где-то на берегу у створы. Помнишь, с костляной ручкой и пружиной. Отец подарил.

Тогда она заплакала, будто кто равномерно выпускал петелькой капли из глаз. Слезы осторожно стекали по щекам и пропадали в углах рта. Последнее время она плакала часто, без усилий и видимых причин.

— Перестань. Это невыносимо.

— С кем ты был? Понятно, опять эти близнецы. Просила тебя не связываться с ними. Дождешься, убьют в драке.

— Ничего. Они ребята свои.

— Свои, а так избиты. Чего вы не поделили?

— Ладно, это наши дела. Возьми фонарь и сходи на берег. Найди нож. Там на рукоятке мое имя. Сам я идти не могу.

Она взяла фонарь, набросила плащ прямо на халат и ушла. Вернулась она без ножа.

— Его нет. Ты кого-нибудь ударил?

— Все в порядке. Они взяли его с собой. Я же говорю, они ребята мировые. Посмотри, что у меня с ногой.

Я поднял грязную брючину, мачеха осмотрела ногу.

— Скорее всего, закрытый перелом. Днем сделаем снимок. Давай помогу дойти.

— Не надо, сам. Свари, пожалуйста, кофе с пенками.

— Боже мой, — неожиданно улынулась она, — ему сейчас пенки нужны.

Я похромал в свою комнату, разделся в темноте, лег под простыню и стал смотреть, как медленно рыжеет небо, его слишком много из окна, небо как прорубь в бездонность, откуда возвращаешься измененный, переходишь из одного состояния и мира в другой и не улавливаешь грани, их раздвигают. Что-то сейчас делают близнецы, думал я. Глубоко порезать я их не мог, держал палец на лезвии, но лучше бы ничего этого не было, и зря я пошел берегом, но что-то непременно ожидалось случиться тем летом, слишком спокойной и размеренной была жизнь, если не считать не сданного за семестр экзамена по латинскому.

Мачеха входит в комнату, зажигает свет — я зажмуриваюсь одним глазом — и ставит на стол чашку и сахарницу, совершенно теми же округлыми движениями и с тем же неодолгим терпением на лице, с каким приносила кофе отцу, если играючи дулась на него. Мне казалось, что их жизнь — это игра по каким-то своим правилам, которых мне не понять. Пока он не умер.

Несомнительная это была смерть. Да и весь он был какой-то несолидный. Плохо рассказывал анекдоты, пел, как самосед, самые старые песни на один и тот же лад и мотив, любил всеми забытые исторические романы и почему-то Диккенса. Потому и друзей у него было немного, и самый близкий — местный судья, у которого с финской кампани не сгибалась нога, и судья, летом ездивший на работу на велосипеде, крутил колеса одной pedalю, а вместо другой была приварена широкая подножка.

Ощущение утраты приходит позже, но из всей полноты сопричастий остаются лишь факты, наличный скелет бытия, нерасторжимая схема связей. Отец всегда вызывал ожидание шутки, но действовал решительно и бесповоротно, и мне каза-

лось, что он неудачно сострил, оставив меня сиротой, а мачеху с беременностью.

— Тебе утром на работу. — говорю я, — шла бы ты спать.

— Успею. Я принесу таблетки.

Она приносит из кухни табурет, ставит возле моей постели, на мгновение наклоняется, я вижу в распахнувшийся халат набухшие груди. До родов ей, по моим подсчетам, месяца три. Я сижу, прислоняясь спиной к подушке, ставлю чашку на колени, долго размешиваю сахар, кладу ложку на блюдце и прихлебываю кофе. Говорю сквозь зубы, потому что челюсть подвязана:

— Хочешь, я тебе другую кофеварку сделаю? Приду как-нибудь вечером к ребятам на завод и выточу из нержавейки. Нужно сделать для тебя что-нибудь хорошее.

— Сделай. — Она садится у письменного стола, сдвигает колени, убирает ноги под табурет и листает книгу — хрестоматию по древнеримским авторам. — Когда тебе «хвост» сдавать?

— В начале сентября.

— А что твоя девушка? Давно я ее не видела.

— Она бывает в твоё отсутствие. А теперь и вовсе не приходит.

— Поссорились?

— Она не любит меня.

— Пожениться бы вам. Это я советую как мачеха, — улыбаюсь она.

— Спасибо, я подумаю. — Я выпиваю кофе и ставлю чашку на простыню. — Слушай, а как у тебя с отцом было? Как начиналось и всякое такое? Вам всегда было хорошо? Ты извини, что я спрашиваю. Он сам не успел рассказать. Он всегда про себя рассказывал. И про женщин тоже. Он думал, будет лучше, если я от него узнаю.

Мачеха молчит и чему-то улыбается, а я краем глаза рассматриваю ее, — припухшее за время беременности лицо, редкие волосы, стянутые на затылке черной атлетичной резинкой, выпуклый лоб, взгляд растерянных, удивленных, смотрящих вовнутрь глаз.

Когда отец привел ее в дом, она была крашеной блондинкой, и он сказал, что в блондинок красятся шлюхи, и она восстановила естественный цвет, а теперь и не вспомнить в подробностях, какой она была прежде, хотя времени прошло чуть больше года, а до этого было еще несколько месяцев, как она неизвестно откуда появилась в поселке — молчаливое существо с тихим бесцветным голосом.

— Было у нас просто. Отец, — она так теперь и называла его в разговоре со мной, — отец пришел ко мне на медпункт, зашел в кабинет, сел и молчит, разглядывает. Я спрашиваю, на что жалуетесь. Он говорит, что жалуется на скуку и одиночество. Я отвечаю, что у меня нет времени заниматься глупостями. А он говорит, что все это не так глупо, как кажется на первый взгляд. И ушел. А потом я весь день чувствовала его присутствие в кабинете. И еще сказал, чтобы после работы и не уходила и ждала его. Помню, разозлилась я, думаю: за кого он меня принимает? А уйти так и не смогла. Будто он мою волю выключил.

— Да, это он умел.

В тот день я сразу сообразил, что у него что-то такое на уме. После обеда он пришел в цех будто по делу, а сам наеливается на меня, идет не торопясь, то с одним перекинется словом, то с другим, и двигается ко мне. Я сижу верхом, раскинув ноги, на днище катера и прошиваю гладкую строганую деревянную обшивку медными гвоздями, жду, что дальше будет. Мне еще в столовой ребята сказали, что инженер делает стойку в медпункте. Наконец он подходит ко мне и показывает рукой, чтобы я слез. Я положил молоток, съехал вниз, смотрю на отца. Глаза его всегда казались мне излишне умными, как будто кто-то другой смотрел сквозь них, и не иссохшая пуповина родительно-сыновней любви, а что-то иное, гораздо более глубокое и строгое, связывало нас, и мы, придя издали в этот единственный мир, избирали друг друга для неведомых высоких целей.

— Вот что, старина, — сказал он. — Слушай сюда. Как хочешь смену, двигай домой. Возьмешь деньги и — в гастронорм. Посмотри, какое вино поприличнее. И шампанского. И пожевать чего. Усёк, гусёк? У нас сегодня гостя.

— Понял, папа. Сабантуйчик. Я заманиваю, а ты по ногам бьешь.

— Разговорчики! Не сабантуй, а культурный отдых и беседа о важных жизненных проблемах. И чтобы за столом никаких пошлых разговоров, никаких сальностей, дурацких намеков. Никаких анекдотов.

— Ладно, я про что-нибудь духовное, медицинское. Вирс-А или про почечную лоханку.

— Никаких лоханок, понял? Ты должен выглядеть серьезным, начитанным юношей. Вспомни что-нибудь про литературу или музыку.

— Слушай, батя, ты кого замуж выдаешь, меня или себя? В тот вечер вышло как нельзя лучше. Мы с отцом так стали, что бедная медичка растерялась, кого из нас предпо-

честь. Потом отец шепнул мне, что намылит шею, и я уступил, у него мускулов больше.

— Это было в тот вечер, когда начался северо-западный ветер.

— Да, ты тоже помнишь? Это было в марте. Я вечером вышла на улицу и увидела сломанный тополь.

— Помню. Весной и осенью здесь сильно дует. На отца и меня ветер всегда действует. Становишься разговорчивым, хочешь выпить, идти к людям, совершать благородное. Пошуметь, попеть, всякое такое. Ты из других мест, тебе трудно понять.

— Нет, я теперь привыкла. Только в дождь тоскливо... А помнишь, под новый год отец потащил меня в лес? Мы вспомнили, что нет елки.

— Помню. За вами в лесу увязалась странная собака.

— Да, очень странная. Стоит рядом и отойдет в сторону.

А когда стали выходить из леса, она и вовсе исчезла. А елка была?

— Что надо. Ты в ту зиму палец обморозила.

— В эту зиму. Еще кофе? Хочешь поест? Закрыть окно? — Спасибо, ничего не нужно. Иди поспи немного.

— Напрасно он нас оставил. Или так ему было нужно?

— Не знаю. Он умел присутствовать и оставаться, когда уходит.

— Как ты думаешь, — спросила она с надеждой, — это долго будет?

— Это зависит от тебя. Память всегда с нами. Главное — не заваливать мусором. Не принимать чужое и случайное.

— Скажи, я сейчас совсем редко говориваюсь, правда? Просто даже и не заметно. Совсем не бросается в глаза, правда?

— Совсем не заметно. У тебя все в порядке.

— Я ужасно боюсь, что опять начну заговариваться.

— Да нет же. Поверь, все в порядке. Если что и бывает, так это от беременности. Беременные — не такие, как все. Особенные. Они вынашивают будущее. Будущее всегда непонятно. Так что говори, что хочется. Что придет в голову.

Она погасила свет и ушла к себе. В комнате обозначился прямоугольник окна, небо из рыжего стало сиреневым, потом оно заголубеет, зазеленеет, а потом его вовсе не станет, а я, лежа под простыней, дожидаясь рассвета. И так каждый вечер. Мы вспоминаем всякую мелочь, которая случилась с нами, даже если меня при этом не было. Но я делаю вид, будто все мне известно, и подтверждаю, что так оно и было, как она рассказывает. Как они попали под дождь, она вся вымокла, и

отец удивился, что она не носит лифчика. Как они бежали на поезд, она упала и порвала чулок. Как их не пускали в ресторан, потому что на отце не было галстука, и отцу пришлось притвориться иностранцем, и их посадили за отдельный столик, и официант заговаривал по-иностранному, а отец только и знал, что «йес» и «ноу». Хорошо, что она останавливалась рассказывать про остальное, это было бы невыносимо. Каждый раз я выслушивал ее все с большим трудом, а для нее эффект отцовского присутствия не угасал, но возрастал, напоминая настойчивым стуком в живот, шевелением под сердцем, или как это у них бывает.

Утром я люблю пускать из окна бумажные самолеты, сложенные из контрольной по древнеримским авторам. С третьего этажа летят они, бумажные самолеты, далеко через дорогу и над Невой к другому берегу, особенно когда на несколько дней подует северо-западный ветер и над лесом прочертит на горизонте небо малиновыми полосами, влажными на закате, и в такие дни нет места, где хотелось бы оказаться, и нет людей, с которыми хотелось бы говорить, хотя во всяком одиночестве есть недоразумение, не имеющие прав на существование. Одиночество — не природное состояние, животное оно неведомо, и чем дальше мы уходим от природы, тем тягостнее и невыносимее становится оно. Я лежал на холме в Тевтобургском лесу много веков назад, лежал, прикрытый порванной и окровавленной тогой, нет, плащом, потому что в тогах не воевали, — такой же душной августовской ночью, как прошедшая ночь, и прислушивался, как летают над полем битвы, точно души павших, черные совы. Квинтилий Вар, верни легионы!

Небо каждое утро другое и каждое утро одно и то же, в нем нет разницы между вчера и сегодня, между завтра и двадцатью веками назад, встречу с которыми можно отложить из-за сломанной ноги, пока не привыкну к древнеримским авторам, пока не представлю, как выглядели те люди, зачем жили и зачем умирали и почему не пользовались вилками во время еды.

Сидеть у окна в перемене цвета облаков, под гипс лить «полюстровскую», чтобы умерить зуд и заниматься римскими авторами, — *adpare animosus rebus angustis*.*

Времени нет, и нет его делимости, и можно просыпаться до рассвета и засыпать поздним днем, когда у окна прохлад-

* Перед лицом затруднительных обстоятельств покажи себя мужественным (*Гораций*).

Sperem longam recesses spatia brevi,* — пишу я на бумаге, складывая самолет и отправляю в окно, он ныряет вниз, потом, подхваченный ветром, взлетает вверх и уходит влево вдаль. Ага, думаю, начинается северо-западный, наступает момент свершения.

В прихожей ржаво дребезжит звонок. Это жизнь требует к себе. Не пойду. Во-первых, я в трусах, во-вторых, римлянина и философа так не призывают к действию. Должен был рхнуть удар грома, от которого дверь сама бы вывалилась. Еще раз, настойчивей, звонят. Хорошо. Попробуйте еще раз. Вот так. Теперь можно не торопясь натянуть брюки, сунуть подмышку костыль и открыть просящему. Так приходит любима.

На ней что-то сарафанно-блузочное небесного перелива, а в лице радость встречи, ожидание, которое сейчас почему-то раздражает. Я смотрю на нее и завидую ее обаянию, внутренней гармонии, неловкому бегу чувств, завидую, как эпоха отчуждения завидует эпохе возрождения.

— Мы так и будем здесь стоять? — спрашивает она. Любит? не любит? — во мне возникает ненужный вопрос: чистая, естественная, как дыхание, — она еще не личность, но дух личности, воплотиться которому в меня? в другого? И тот осадок непонятной горечи, обманутой сокровенности, чему во мне уготовано много места и нет объяснения, в ней открыто не принимается, и в таком отрицании несчастья я вижу недоступную мне силу.

Я создаю на лице гримасу боли и, преувеличенно хромая, ковыляю за пришелицей из современности. Она видит беспорядок, разбросанные книги — Овидий, Гораций, Светоний, Плутарх, украдкой вздыхает, а я разглядываю ее — тщательно и продуманно причесанную голову, завитки волос в нужных местах, слегка подведенные веки, голубую жилку под ухом, в нежном уголке моих прежних поцелуев.

— Ты сегодня изумительна. Прелесть как хороша, — говорю я бесцветным тусклым голосом. — Как фея. Как танец мечты. Куда это ты так вырядилась?

— К тебе, грубиян.

— А-а, тогда ладно. Хочешь апельсинового сока? Мачеха велела напоить тебя апельсиновым соком. Она знала, что ты придишь. У нее чутье на тебя.

— А что еще она велела?

— Чтобы я женился на тебе. Говорит, мы идеальная пара.

* Надежду на далекое будущее ограничь коротким промежутком времени (Гораций).

нее, чем на улице, а дом ложится тенью на газон, и тень дома выше его самого, и трубы и кресты антенн достают до шоссе, до автобусной остановки напротив, и люди топчутся на крыше. Так и сижу у окна, положив каменную ногу на подоконник, сижу с книгами под рукой и наедине с сыном вольноотпущенника Квинтом Горацием Флакком, с виду невысоким и тучным, как все чревоугодники.

На шоссе движение начинается в пять утра, идут пешком и едут на велосипедах рабочие на завод, из города первым рейсом — автобус, порожняком — грузовики с прицепами, и через час обратно в город с пассажирами и кирпичом. Чуть позже начинается движение на Неве — закопченные промасленные буксиры, короткие и толстые, и на палубу вылезает кто-нибудь в подолсатом тельнике, бросает за борт ведро на веревке, черпает воду и снова исчезает в преисподней; широкие и длинные самоходные баржи с песком, и на корме висят веревки с бельем — застиранные выцветшие детские рубашки, платья в горошек, в полоску, в квадрат, джинсы с блестящими кнопками; потом пойдут пустые речные трамваи, и в рулевой рубке кто-то безусый в надвинутой на нос фуражке; пароходы на Валаам и Киж; моторные и весельные лодки в непрерывном десятилетнем ритме.

Времени нет, потому что оно целиком в моей власти, я могу делать с ним, что вздумается, — пить его, цедить сквозь зубы, заглаживать кусками, предоставлять ему течь в любом направлении и с любой скоростью, складывать в остроносые самолеты и отправлять из окна в стоячую жару, такую плотную, что ее можно резать бритвами и продавать на север. Все, что есть, — кусок неба, заключенный в оконную раму, и я, обладатель естественнейшей картины, вижу, что облака меняют цвет от нежно-сиреневого до блекло-зеленого, потом зелень голубеет, синеет, становится почти фиолетовой, черной, густой, как пыльца бабочки, которая села на подоконник и равномерно складывает и расправляет крылья, а облака так жирно окрашены, что если посмотреть вдоль ноги, лежащей на подоконнике и замурованной в гипс, из которого торчат будто чужие пальцы, то можно увидеть, что облака пачкают ногти.

Мир уравнивает во мне и вове, он одновременно убывает и прибывает, проходит сквозь неуклонно и неостановимо, ему безразлично, двадцать мне лет или двадцать веков, он течет, чтобы и во мне происходили изменения; мир усложняется, накапливается, накатывает и отбегает, как волны прибоя, и ринсунком, оставленным на песке, время с завидным упорством отпечатывает утраченный смысл.

Что мы созданы друг для друга. Как два шанса из двух раз-
ных миллионов.

— Меня тоже стоило бы спросить.

— Зачем? Я и так знаю, что ты не пойдешь за меня. Хо-
чешь сока?

— Хочу. Тебе принести?

— Бр-р. Дрянь этот сок. Разбавь водой, а то отравилась.
Она уходит на кухню, хлопает дверцей холодильника, воз-
вращается с большой чашкой, садится на подоконник на фоне
неба, я вижу, что облака перестают течь и мягко располага-
ются вокруг ее головы. Она пьет маленькими глотками и рас-
сматривает меня.

— Поверни голову, — говорит она. — Вот так. Ай да синяк.
Какая палитра. Синий, зеленый, желтый, розовый, красный.
Выдающийся синячище. Чем это?

— Деревянной доской.

— Дураки вы, парни. Делать вам нечего. Чего подрались?
— Трудно ответить, — важно говорю я. — На самом деле
все намного сложнее. Спонтанная агрессия, может быть. Но
лучше, если доктор Фрейд спросит об этом у доктора Лоренца.
— Все равно некрасиво, — сморщивает она нос. — А я
после института стану искусствоведом. Ты знаешь, что такое
искусство?

— Понятия не имею. Что-нибудь искусственное?

— Искусство — сила, преобразующая человека в мире и
мир в человеке, — произносит она тоном проповедника, про-
бужающего на туземце первые аккорды своей новой веры.

Она ставит недопитую чашку на подоконник, подсовывает
руки под себя, раскачивается и разглядывает вытянутые ноги
от круглых колен до прыжек на розовых босоножках. Как все
красивые, она кажется несколько глуповатой и догадывается
об этом.

— Хочешь, поцелую? — говорит она, удовлетворенная видом
ног.

— Нет. Тебя стошнит.

— Вот как. — Она прыгивает с подоконника и садится на
диван. — Я буду отсюда, снизу, смотреть на тебя и ловить каж-
дое слово. — Она злится, у нее бледнеют скулы, расширяются
зрачки.

Трудно было объяснить ей, что я встретил ее неожиданно и
напрасно, когда не было опыта обратить в силу, постигнуть
глубину всей этой мимолетной вечности; что много позже, ко-
гда теперешнее станет насыщенным, как извлечение от удущья,
у меня не будет ее, и единственным напоминанием станет
северо-западный ветер, свободный, как всякая приобретающая

обширная стихия; что я, как только пойму наваждение ветра,
стану, точно лось весной, приноживаться, прислушиваться, при-
чувствоваться к тому, перед чем в неоплатном долгу. Для меня
ты слишком красива, милая, и этот лишек как кандалы на
ногах: не уйдешь, не взлетишь, и век — ходить по кругу: брак
да брак.

— Я останусь, чтобы понять, — говорит она с решимостью
надежды. — Куда ты живешь? Назад, к предкам? А кто вино-
ват?

— Никто не виноват, — улыбаюсь я, кажется, мудро и го-
рестно. — Во всем виноват август, северо-западный ветер, ред-
кие безумные дожди, снова сушь и тишина, долгое молчание.
Виноват август. Эпоха Августа. Продолжительное спокойствие,
непрерывное бездействие народа, постоянная тишина в сенате
и все более строгие порядки принцепса умиротворили и самое
красноречие, как и все остальное. Так говорит Тацит.

— Ты что-то скрываешь, — сказала она.

— Нечего мне скрывать. Этим я и опасен. Но я скрываю,
что мне нечего скрывать, и это придает мне значительности.
Но что-то есть на самом деле, что я хотел бы сохранить только
для себя. Как у нас все было. Какие слова мы говорили после
этого. И как ты смеешься, и как смотришь на меня. И то, что
я чувствовал, что ты все это чувствуешь. И только моя при-
родная скромность...

Она смеется.

— Нет, это не семейное качество, но обретенное. Отец был
ужасный хвастун и эгоист. Подкинул мне на руки молодую
застенчивую вдову, чтобы я заботился о ней, ворошил ее вос-
поминания о нем, оберегал от сплетен.

— Разве он просил тебя об этом?

— Нет, но от этого никогда не денешься. Жизнь загоняет
в угол. Всегда нужно быть готовым взять на себя бремя чужих
страстей. Для него их любовь, кажется, была делом чести и
доблести, каким-то долгом, которого мне не понять. Ради этого
он восстановил против себя весь поселок. А потом взял и умер.
Представляешь, если вдруг ребенок будет похож на отца?
А мы с ним как две капли одной воды. Тогда скажут, что я —
автор.

— Циник. Нельзя быть таким в двадцать лет.

— Только в двадцать и можно быть жестоким. Сентимен-
тальность приходит позже, как молитва о невозвратном. Отец
в своих делах был мастак. Он въелся в каждую клетку ее
сознания, и этим испортил ей жизнь. Она могла бы выйти за-
муж, но он всегда будет в ее глазах и памяти.

— Он ввремя ушел... Я думаю, мы любим любовь, и жизнь, и все хорошее потому, что оно недолговечно.
— Мы любим хорошее потому, что оно хорошее. Есть и другие причины. Мы любим, когда душа не приемлет зла.
— Ты засиделся, — сказала она. — Пойдем в кино? Там какой-то боевик первым экраном. И костыль возьми. Умничка. Ты хорошо смотришься с костылем. А все-таки, из-за чего вы дрались?

— Старший близнец имел на тебя виды, — соврал я.
— Ты рыцарь. Господи, как я тебя люблю.
— Не валяй дурака. Ты меня не любишь. Я тебя давно раскусил. С самого детства. Ты сломала мой песочный дом.
Не прошу.
— А ты оторвал ногу моей кукле. Помнишь, как моя мать была без ума от твоего отца. И если бы они поженились, то я была бы ты, а ты был бы я. Поэтому моя мать терпеть тебя не может.
— Да, читал. Монтеки и Капулетти. Как быстро бежит время.

После кино мы медленно идем сбоку от шоссе, по пыли, рядом с остывающей грязной, резко пахнувшей асфальтированной дорогой. Я равномерно выставляю вперед костыли, потом переносу ноги, на одной вместо ботинка подвязана старая ка-лоша.
Незаметно темнеет, становится прохладнее, в небе возникают звезды, перестают летать ласточки, ветер сносит редких комаров, издавая пахнет дымом.

— Через двадцать лет сюда придет город, и здесь будут люди, люди, люди. Много-много людей.

— Хорошо бы сходить на тот берег за грибами, — ска-вал я.

— Помнишь, в прошлом году на том берегу на нас набро-сились клещи. Вот ужас, — передернула она плечами.

— Да, тогда драпали мы красиво. Хочешь, я приеду к тебе на три дня?

— В общежитие?

— У меня в Москве тетка, а у тетки большая квартира, а в квартире пустующая комната, а в той комнате большая кровать. Представляешь, как здорово? Я приезжаю, ты встре-чаешь меня на вокзале, натурально, целуешь, радостная, мы устраиваемся у моей тетки, потом идем куда-нибудь, Потом весь вечер бродим по городу.

— Взвизывая за руки.

— Верно, откуда ты знаешь? Потом идем в кафе. Са-димся за столик у стены, где только два места. Сидим против друг друга, я через стол касаюсь слегка твоей руки, смотрю в твои глаза глубоко и бездонно, говорю тебе, как я тебя люб-лю. Потом читаю наизусть кого-нибудь из римских авторов. Кто-нибудь веселенькое: *ad suum patris tunc*. * Забыл, как там дальше. Потом опять говорю тебе, какая ты красивая, умная, лукавая, женственная, преданная, разнообразная, пере-менная, страстная, щедрая...

— Потом у тетки ложимся в большую кровать?

— Угадала. На прохладную и скользкую холщовую про-стину. Но не сразу. Сначала садимся у окна, вдыхаем холод-ный московский воздух. Сидим у окна, не зажигая света.

— Лучше я сию у тебя на коленях.

— Да, ты сидишь у меня на коленях, перебираешь волосы на голове, а я говорю, какая ты красивая, умная...

— Это ты уже говорил.

— Правильно, тогда мы молчим и слушаем транзистор. Тебе какие песни нравятся?

— Песни протеста.

— Тогда, значит, так: ты сидишь у меня на коленях, я поглаживаю твои бедра и мы слушаем песни протеста. Что ты на это скажешь?

— Неприкрытый цинизм.

— Ладно, — говорю я, — давай прикроем цинизм. Пожа-лимся. Телевизор в кредит. Холодильник в рассрочку. Пылесос в долг. И детскую коляску на мою стипендию.

— Давай вместо этого спустимся вниз. Я хочу искупаться. Мы сходим с дороги на тропинку, спускаемся с высокого берега и дальше идем по песку до больших камней у воды. Я сажусь на камень, доставленный сюда последним оледене-нием, камень еще теплый, втыкаю костыли в песок и смотрю, как девушка раздевается, снимает купальник, кладет его на камень, где я сижу, идет по краю воды вверх по течению. Сначала я вижу нетронутый загаром треугольник на ягодицах, потом и это расплывается в темноте.

В воздухе тепло и вода теплая. Газеты писали, что этот август самый жаркий за минувшие восемьсот пятьдесят шесть лет.

Я пытаюсь разглядеть на воде ее голову, услышать всплес-ки, но на воде — блестящие дорожки от фонарей и рябь от только что прошедшего катера, и я замечаю девушку, когда

* Ругательство (лат.).

она выходит из воды передо мной. Рожденная из пены и омываемая ночным воздухом.

— Зажмурься, я оденусь.

— Когда раздевалась, не просила жмуриться.

— Это разные вещи. — Она быстро одевается и пристраивается рядом со мной. — Теплый камушек. Можешь обнять меня. Еще крепче. А эту руку положи сюда. Вот так. Умница. Теперь тепло.

— Какие соски жесткие. Как проволока. Царапают.

— Помнишь, мы на берегу мину нашла.

— Помню, ты за руки хватала, чтобы я не трогал.

— Тут раньше кусты малины были. Теперь все пусто. Земля лысеет от старости. Смотри, рыба плеснула. Хочет на нас посмотреть. И еще вон там. Рыбы видят в темноте? Ты узнай, после мне расскажешь. Интересно узнать про всех животных и всех человек. Я читала в какой-то книге, что нужно, чтобы быть счастливым. Нужно наложить свою личность на всю свою жизнь. Помнить, что ты — одно со всеми.

— Какую же личность надо иметь? Может, лучше — наличность? И если — одно с миром, то где для тебя место?

— Мне много не надо. На камушке здесь, рядом с тобой. Мы помолчали. Ночь наполнилась звуками деятельного движения.

— Помнишь, — сказала она, — ты в детстве стихи сочинял? Ты говорил, что есть стихи утренние, дневные, вечерние, ночные и так далее.

— Я ошибался, их больше. Цветные и бесцветные, дамские и мужские, наглые и деликатные, и всякие другие.

— Милый, — она по-кошачьи потерлась своим щекошущим холодным ухом о мой подбородок. — Что-нибудь вечернее...

— Смотрю в тебя, как в тихий лик души, — настроил я полупешот на дыхание ночи, — как в зеркало, не тронутое тлением, и, звучный свет не в силах приглушить, смущенные знакомым чужим отображением. Мои угрюмые и резкие черты там смягчены, подвластные покою, и в вечности, которой я не стою, есть потаенный смысл простоты. Твой светел взгляд, в нем все мое значение, к нему склоняюсь, как грешник к алтарю, за кроткий горький подвиг примиренья благодарю.

— Ego — mei — mihi... aliquo nuntio sum... *

— Ты с ума сойдешь от зубрежки, — говорит мачеха. — Отвлекайся.

* Я — меня — мне... иметь какое-либо значение. (лат.).

— ...кайся. Не могу. Должен иметь «пятерку» по латинскому. Это мой долг. Успеть заплатить, пока не поздно.

— Не переплати, чтоб жалеть не пришлось. — Мачеха прохдит в комнату и садится. Краем скатерти она прикрывает живот, а сверху кладет скрещенные руки. Живот у нее сильно вырос, заострился, и когда я думаю о том таинственном и страшном, что там происходит, мне делается холодно. У нее такой живот, что скоро во время обеда она сможет ставить на него тарелку.

— Когда ты родишь?

— В свое время, — говорит она спокойно, и я понимаю, что теперь ей ничто не страшно, она осознает поддержку в своем чреве. — За что ты меня не любишь?

— Плюнь в глаза тому, кто скажет, что я тебя не люблю.

— Не юродствуй. Ты думаешь, я украла у тебя твоего отца.

— Нет. Смерть украла его у нас обоих. Такова жизнь.

— Ты знаешь, о чем я думала, когда выходила за твоего отца?

— Догадываюсь.

— Нет, я думала, у меня будут трое мужчин — муж и двое мальчишек. Двоих я уже потеряла.

— Не говори так. Ты можешь меня усыновить. А я тебя уматерю.

— Хорошо, — соглашается она и водит пальцем по узору скатерти, — а если я уеду в деревню?

— Если надо — поезжай. Ты вернешься?

— Оставим это. Что ты будешь есть на второе?

— Кусок мне в горло не идет, я есть теперь уже не в силах.

— А если прозой?

— Яичницу с помидорами и перцем. По-гречески.

Мачеха вперевалку идет к двери, паркет радостно поскрипывает у нее под ногами. Даже вещи относятся к ней лучше, чем ко мне.

— Подожди, — говорю я, — давно хочу спросить. Когда вы с отцом успели?

— Когда он был в больнице. Я приходила дежурить ночью.

— Он знал, чем кончится операция?

— Он все знал.

— Да здравствует жизнь, — сказал я, когда мачеха вышла.

Его не сняли со стола, так и оставили. Опустили стол до высоты большой кровати, закрыли по горло белой простыней и на колесах выкатили из операционной. Пока его везли, он сосредоточенно смотрел в потолок, потом спросил, который час. Услышав, что одиннадцать вечера, подумал, что, пожалуй, не стоило и приниматься за такую утомительную операцию, если от нее нельзя ожидать успеха. В палате его напояли прохладной кислой водой, показали, какую кнопку на стене нажимать, если что понадобится, и оставили одного привыкать к смерти. Он продолжал думать о том, что можно было бы сделать за недели жизни, если бы не операция. Получалось, что он успел бы сделать так мало, что это можно не принимать в расчет. Тогда ему стало страшно, и он начал нажимать кнопку на стене.

В палату заглянул и вошел хирург, делавший операцию, — плотный, крепкий, похожий на грузина, бывший военный врач. Он сказал кому-то в коридоре, чтобы вызвали дежурную сестру, затем взял стул, сел верхом и спросил, как дела. Умирающий осторожно откашлялся и выругался.

— Береги силы, — сказал хирург. — Тебе сделают укол, и станет легче.

— Мать твою и бабушку.

— Не трогай бабушку, — улыбнулся хирург, показывая улыбкой, что все не так плохо. — Это была самая блестящая операция за все тридцать лет моей практики.

— Хвастун. Ты был хвастун все тридцать лет твоей практики. Так ее и так. Скажи, чтоб принесли спирту.

— Нет. Тебе сделают укол. Лучше спирта.

Они замолчали, потому что знали друг друга давно и обо всем говорили раньше. Пришла дежурная сестра, поставила на стол железную блестящую коробку с инструментом и бумажный пакет с ампулами. Хирург рассеянно наблюдал, как под напором лекарства надувается буторок на вене, моргал от усталости, думал о своих больных почках и о том, что он уже много часов на работе, и завтра выходящей, и, значит, сегодня можно прийти домой и выпить, чтобы забыться. И тут же подумал, что куда не уйдет, пока не умрет его друг, и пристыдил себя за такие мысли, что будто дожидается смерти, хотя на самом деле он сделал, что можно было сделать при таком развитии болезни. Сестра осторожно брякнула инструментом, собирая коробку, и молча ушла. Хирург проводил ее взглядом и посмотрел в глаза умирающему.

— Ты помоги моим с похоронами.

— Рано об этом говорить, — произнес хирург с профессио-

нальным оптимизмом и понял, что прозвучало фальшиво, потому что умирающий вдруг слабо улыбнулся. Он утвердился в мысли, что это будет недолго, немного и нестрашно, только противно. Он икнул, выругался и всхлинул от слабости.

— Я отправил телеграмму твоей сестре, — сказал хирург. — Она успеет?

— Должна успеть.

— Мои пришли?

— В приемном покое. Позвать?

— Сначала сына.

Мне дали белый халат, и я вошел к нему в палату. Он был желтый, как лимон, и худой. На подбородке кустиками вылезла щетина.

— Как ты себя чувствуешь, батя? Говорят, операция...

— Не валяй дурочку, — сказал он внятно. — У меня нет времени.

— Да, папа.

— Место выберешь на горке. Где кладбище. Возле моста. Там высоко и сухо. Ящик и ограду сделают на заводе. Ограду попроси широкую. Я люблю лежать просторно. Ты понял?

— Да, папа.

— Позаботься о моей вдове. Она, наверное, родит. Помогий ей, если она захочет твоей помощи. Если будет устранять свою жизнь, не мешай. Ты понял?

— Да, папа.

— Возьмешь себе мое барахло. Рубашки и костюмы. Тебе надолго хватит. С вином не балуйся. Рано не женись. Не заводи дурных приятелей.

— Я все понял, папа.

— Иди. Позови жену. Как она?

— Молодцом.

— Ну и ладно. Подожди. Я страшно выгляжу?

— Неважно выглядишь.

— Возьми полотенце и разотри мне лицо. Нет. Позови сестру и попроси бритву. Побреешь.

Я побрил его и растер лицо мокрым горячим полотенцем.

— Вот и кончились каникулы, — сказала ты.

Мы не смотрели друг на друга, наши взгляды бродили по комнате, натыкались на предметы, скользили по книгам, падали на пол, на старый усохший паркет, поднимались по ступеням, цепляясь за выцветшие обои, трещину в углу потолка, спрыгивали на подоконник, задерживались на облупившейся

краске, на шингалетах. Мы были как убийцы, вступающие в створ.

— Да, кончили. Через две недели сдаю «хвост», и дальше все пойдет своим чередом.

— Ты хорошо подготовился?

— Как будто. Спряжения, глаголы и все остальное. Тексты тоже. Опрывок из «Галльской войны». Наизусть. И речь против Катилины. «Доколе, Катилина, ты будешь испытывать наше терпение!...» Я читал мачехе. Она говорит, мурашки по спине. И волосы встают дыбом.

— Как она? — спросила ты. — Скоро?

— Скоро. Уезжает в деревню. Рожать на свежем воздухе.

— Надолго?

— Мы еще не решили.

— Ты останешься один. Бедный. Давай соединим наши одиночества в общем беспредельном счастье, — сказала ты с вызовом.

— Не паясничай. Это тебе не к лицу.

— А что к лицу? Следовать твоим желаниям? Ловить взгляды и впитывать слова? Повелитель прихотей...

— Неплохая программа для любящей женщины.

— Ты боишься ответственности. За себя, за меня, за жизнь.

— Всему этому мне еще предстоит научиться.

— Может оказаться слишком поздно.

И ты ушла. Ощущение утраты возникло позже и возмущало в меня, как в собственный дом, который еще не был построен.

Они явились, когда я их не звал и не ждал. Старший из близнецов с порога начал улыбаться во весь шерватый рот, а младший придавал приветливость всегдашнему своему угрюмому лицу.

— Мы тебя не забыли, — сказал младший.

— Мачеха дома? — спросил старший.

— Уехала рожать в Новгородскую.

— Мы ее утром видели.

— Значит, еще не уехала.

— А нам плевать, кто дома, а кого еще нет, — сказал младший. — Мы в армию уходим. Вот и пришли потолковать.

— Когда уходите? Через две недели? Ну и подождете. Снимут гипс, тогда и устройм толковнее.

— Ждать нельзя, — сказал младший. — Нас твоя краля просила, когда уезжала. Мы ее в городе встретили на вокзале. Вы, говорит, парни, его поддержите, ему тяжело. Это тебе тяжело. Я, конечно, с ходу растрогался. Я жалостливый. А на вокзале к твоей красоте какой-то фрейер подваливал. Клинья бил. Она у тебя ядреная. Как орех. Так и наводит на грех. Пришлось с этим чуваком потолковать в тамбуре.

— Кончай таракет, — перебил старший. — Как узнали, что в армию, первым делом к тебе.

— Да, обезлюдела земля. Спасибо, что зашли, не забыли.

— Подожди, — сказал старший. — Стоим и думаем: идти не к кому, только к тебе. Росли вместе, дрались вместе. Ты стал как родной.

— Третья двойняшка, — не утерпел младший.

— Вот-вот. Кого знаем лучше остальных в поселке? Тебя. С кем жалче всего расставаться? С тобой.

— Спасибо, ребята.

— Кто еще с завода уходит в армию? — спросил я.

— Идем мы, потом трое с механического, потом один из столярки, знаешь, рыжий такой, у него брат в прошлом году под поезд кинулся от любви. Всего человек восемь.

— Слушай, — сказал младший, — бросай ты свой университет. Разве это жизнь — над книгами сохнуть? Головой работать надо. Айда с нами в морфлот. До свиданья, мама, не горюй. Наедем морду шире плеч и каждое утро — с голым торсом по мокрому пирсу. Да, — вспомнил младший и положил на стол мой нож, потерянный на берегу. — Не терай, — осклабился он.

Я подвинул нож к нему.

— Возьми на память. Я тебя не сильно поцарапал?

— Нормально, — расплылся младший. — Видишь, концы не отдал?

— Тебе я другой достану и пришло, — сказал я старшему.

— Спасибо. Ты настоящий. Чего мы всю жизнь дрались?

— У него была вызывающая внешность, — сказал младший. — Так и хотелось по хохотальнику съездить.

— А теперь не хочется?

— Пригляделись. У всех нас рыла одним пятаком.

— Спасибо, ребята, я буду вас уважать.

— И мы тебя уважаем. Махаться круто и плаваешь классно. Зря ты в университет пошел. Это у тебя книги по-каковски?

— На латинском.

— Скажи что-нибудь по-ихнему.

— Радости часто бывают началом нашей печали, — сказал я.

— Во здорово! — воскликнул младший. — Даже я понимаю. Это когда пьешь за столом, а блюешь в вырезвиловке. Еще чего-нибудь.

— Счастлив, кто мог постигнуть причины событий.

— Во дает! Нанусть шпарит!

— Хорошие вы ребята, — сказал я, — надо бы еще чего-нибудь...

— У нас в магазине обед.

— А мотоцикл у вас где?

— На улице внизу.

— Тогда поехали, поимем на стороне чего-нибудь.

— А нога? — спросил старший.

— Доберемся. Сяду боком, а ты правь посередке, чтоб столбы не сбивать.

— Поезжайте, — сказал младший, — а я полежу, почитаю. У тебя есть про любовь? Очень меня это интересует.

— Дура, — сказал старший, — тебе умственное пора читать.

Я взял костыль и вприпрыжку стал спускаться по лестнице за близнецом. У него была крепкая загорелая шея, на нее падали длинные выющиеся волосы. Жаль, что их остригут.

На улице было ветрено и пыльно. Возле парадного у стены грелась на последнем солнце бабка с первого этажа.

— Куда ты, полوماتый! — завопила она, увидев, что я забирюсь на мотоцикл. — Расшибаетесь, идола! Ишь чего надумали с тарактелкой! Вот я околотошному скажу! Он мотоцикл-то отберет! Окаянные!

Я обнял близнеца за талию, мы лихо обогнули дом, подкатили к шоссе и остановились, пропуская вереницу грузовиков, везущих в город кирпич.

— Ветерок-то? — сказал старший. — Чуешь? Сейчас самый клев.

— Да, ветер в порядке. Северо-западный. Рыба дурееет от него.

— Хочешь, — сказал старший, — на этих днях сходим на моторке на Ладогу? У меня есть хитрые блесны. Рыба с ходу берет! Я тебе их оставлю.

— Обязательно сходим. Жалко, что вы уходите, — сказал я. — Из всех, с кем начинали расти, никого не осталось. Один я.

— Это пройдет, — сказал старший, — об этом лучше не думать. Гнилые мысли надо давить в зародыше. Начнешь думать и не остановишься.

...Все это происходило давно, когда ветер бывал гораздо сильнее, как все, что относится к прежним временам, но зато до города ходила не электричка, а паровик. Он с натугой тащил старые вагоны. Зимой они не оттапливались, на окнах намерзал слой льда в палец толщиной, и самым теплым местом была верхняя полка, где скапливались запахи сырой шерсти, пота и табачного дыма, и можно забраться на верхнюю полку и, не закрывая глаз, потому что вагон освещался одной лампочкой, лежать в темноте, думать про что-нибудь и верить, что жизнь еще никогда не кончится.